
ТАЙНИКОВСКИЙ
БЮРО НЕВОЗМОЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
НАЙТИ КОРОЛЯ
ДО ПЕРВОГО КОЛОКОЛА

Тайниковский

Найти короля до первого колокола

«Тайниковский»

2026

Тайниковский

Найти короля до первого колокола / Тайниковский — «Тайниковский», 2026

В Ортене король каждый год уходит за запертую дверь — и возвращается через шесть дней, чтобы принести присягу. Но в этот раз покой пуст.Контора Рика Вельда получает невозможное поручение: найти короля и вернуть его до первого удара колокола. Тихо. Так, чтобы никто не узнал о поисках.В городе началась Лишняя неделя: здесь не задают вопросов, не переступают пороги и не заключают сделок. А за пропажей короля уже тянутся следы тайного заговора, старых долгов и загадки, которую брат Рика унёс с собой шесть лет назад.У команды всего несколько дней. И чем ближе они к разгадке, тем яснее: вернуть короля — значит решить, что именно должно остаться за запертой дверью.

© Тайниковский, 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 17
Глава 3 28
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Тайниковский
Найти короля до первого колокола

Глава 1

Между носками его сапог и нашим порогом была ладонь снега, и он следил за этой ладонью внимательней, чем за моим лицом.

— Кого, — повторил он шёпотом. — Я не могу сказать кого. Не здесь и не так.

— Тогда войдите.

— Не могу войти. Первый лишний день. Через порог не ходят с делом и не дают из рук в руки. Вы это знаете не хуже меня, господин Вельд, у вас полынь на двери.

Полынь на двери была. Её повесил Никс, тридцатого вечером, сказав, что в артели за голую ручку в Лишнюю неделю бьют: голая ручка значит, что хозяин не боится, а кто не боится, у того, стало быть, есть что взять. Я не стал спорить. Подпирать дверь на ночь я тоже не спорил: Бор принёс из дома дубовый брус, тёсаный, с зарубкой под скобу, и объяснил, что у Грейнов его ставит ещё дед.

Шесть дней в году Ортен живёт так, будто в каждом дверном проёме натянута нитка. Я вырос в этом городе и никогда не спрашивал почему. Теперь, после подвала на Мызе, после колодца в Гельте и каменной рамы у меня над головой, вопрос приходил сам, и мне не нравилось, как быстро находился ответ.

— Хорошо, — сказал я. — Вы стоите там, я здесь. Говорите так. Улица пустая.

Он оглянулся. Улица Старых Весов и правда была пустая: снег, следы одной собаки, запертые ставни. В окне нотариуса висел пучок полыни. Лишняя неделя в Ортене начинается с тишины; на второй день к ней привыкаешь, на третий она начинает давить на уши.

Человек на крыльце был немолод. Лет шестидесяти, сухой, прямой, с лицом, на котором привычка молчать лежала глубже морщин. Плащ серый, дорожный, застёгнут до горла. Из-под плаща, у ворота, выглядывало то, что заметил Никс: полоска золотого шитья по серому сукну. Руки он держал сцепленными перед собой, как держат слуги, которым запрещено жестикулировать.

— Меня зовут Келль, — представился он. — Освин Келль. Я служу при одной двери. Тридцать один год.

— При какой?

— При той, которую в последний вечер года подпирают снаружи. Брусом. При народе, — он помолчал, давая мне сложить. — И до первого удара первого колокола нового года не отнимают.

Я сложил. В Ортене это складывает любой, кто хоть раз стоял тридцатого Двенадцатого на Арочной площади.

В последний вечер года, в восьмом колоколе, король Хальвена выходит из дворца пешком, без шапки, и идёт через площадь к Порожной башне. Это низкая круглая постройка из тёмного камня у самой Третьей арки, старше дворца и старше площади; дети думают, что в ней живёт сторож. Король входит. Дверь за ним затворяют и подпирают снаружи дубовым брусом, окованным, с королевским клеймом. Шесть дней он сидит там один: не подписывает, не принимает, не показывается. Еду ему подают в окно, потому что через порог нельзя. Называется это «затвор». Зачем оно, знают, я полагаю, мерные отцы, и каждый объясняет по-своему. На рассвете первого числа брус отнимают, король выходит под арку и присягает палатам. В этом году на шесть лет вперёд: Эдрик правит с девяносто девятого, шестилетие вышло.

Я стоял тридцатого на площади. Мы ходили все, с Грейнами. Видел, как он шёл: молодой, высокий, широкий в плечах, без шапки, и снег садился ему на волосы. Под мышкой он нёс порожный ларец, тёмный, с локоть длиной; про ларец в Ортене говорят, что в нём лежит присяжный лист, и никто не проверял. Видел брус. Юна спросила, не холодно ли королю в башне, и Марта сказала, что там печка.

— Брус на месте, — сказал я.

— На месте. Клеймо цело. Я проверил трижды.

— А за дверью?

Келль разжал руки. Сцепил снова.

— Я подаю в окно. Окно-подавальня, с задней стороны, в локоть шириной. Утром первого лишнего дня я подал хлеб, воду и кашу. В полдень пришёл забрать посуду. Она стояла, как я поставил. Каша остыла и взялась коркой.

— Он мог не захотеть есть.

— Он ест кашу с четырёх лет. Я подавал ему первую, — старик не повысил голоса. — Я позвал. Тихо, как положено: в затворе не окликают. Мне не ответили. Тогда я сделал то, чего не делал тридцать один год. Я заглянул.

— И?

— Покой пуст.

Он произнёс это так, как Тарн произносил «распашка». Слово, которое не следовало говорить на улице.

За моей спиной, в приёмной, перестали дышать трое. Бор у камина. Никс на лестнице, на третьей ступеньке, которая не скрипит. И человек за моим столом, которого месяц назад здесь быть не могло: длинный, тощий, в синем сюртуке без канта. Кант он спорол сам, двадцать шестого числа, в тот день, когда окружной смотритель подписал ему отстранение до разбирательства. Последняя бумага, сказал Реддик, какую тот успел подписать в году.

— Кто знает? — спросил я.

— Я. И та, что меня послала. Больше ни одна душа.

— Та?

— Не могу назвать через порог.

Я не стал давить. У короля Эдрика одна сестра.

— Мэтр Келль. Вы пришли нанять контору. У моей конторы восемь правил, они висят у двери, вам с крыльца не видно. Первое: аванс вперёд. Третье: поручение записываем дословно и читаем заказчику вслух. Шестое: расходы с расписками. Сегодня первый лишний день. Я не могу взять у вас деньги: через порог не дают. Я не могу записать поручение: в Лишнюю неделю не пишут договоров, такая запись не стоит бумаги. Я не могу дать вам расписку. Вы предлагаете мне искать человека, которого нельзя назвать, по договору, которого нельзя заключить, за плату, которую нельзя принять.

— Да, — ответил Освин Келль. — Именно это мне и велено вам предложить. Мне сказано: если есть в городе контора, которая возьмётся, то эта. У вас на вывеске написано.

Я поглядел вверх. Вывеска была в снегу. Одиннадцать букв во втором слове.

— Кем сказано?

— Тем, кого вы будете искать. За три дня до затвора. Он читал отчёт сводного пристава о некоем месте на востоке и другой отчёт, мерщика. Он сказал при мне: «Вот контора, которая сделала то, чего не могли три палаты за восемнадцать лет. И взяла за это сто арок». Он смеялся. Он редко смеётся, — Келль помедлил. — А когда я нынче утром влез в покой…

— Влезли?

— В окно. Через порог мне нельзя. Мне шестьдесят лет, окно в локоть. Я влез.

Никс на лестнице издал звук, который у него означает уважение.

— На столе лежала бумага. Не письмо: клочок, оторванный от его собственной тетради. Его рукой. Я знаю эту руку, я видел, как она училась выводить буквы. Там было написано: «Старые Весы, двенадцать-бис. Тихо».

Он достал клочок из-за обшлага и поднял, не протягивая. Держал в двух пальцах, над снегом, по свою сторону порога.

Я не мог его взять. Я мог только смотреть.

Бумага была плотная, желтоватая, с золотым обрезом по одному краю. Почерк быстрый, острый, с сильным наклоном. Четыре слова. И на сгибе, там, где клочок сложили пополам, серело.

— Адель, — позвал я, не оборачиваясь. — Спустись. С иглой.

Она была наверху, над столом брата: восьмой день. Я услышал, как стукнула дверь, как она сбежала по двенадцати ступеням и ещё по одному пролёту. Она встала рядом со мной в дверях. Очки, тетрадь под мышкой, чернильное пятно на среднем пальце.

Ей хватило одного взгляда на бумагу.

— Песок. На сгибе. Поднимите выше, пожалуйста. К свету.

Келль поднял. Она вытянула руку с трубкой, над порогом, не переступая. Игла висела ровно.

— Ничего. Как в первые два раза, — она убрала трубку и посмотрела на старика, как смотрела в своё время на Тарна. — Вы сказали: его рукой. Он сам это писал? Вы видели?

— Я видел бумагу на столе. Как писалось, не видел.

— А сам он, если бы хотел оставить вам весть, написал бы «Тихо»? Одним словом, без обращения?

Келль задумался. Думал он честно, это было видно.

— Нет. Он написал бы: «Освин, не поднимай шуму». Он всегда пишет полным именем и на «ты».

— Благодарю, — Адель повернулась ко мне. Сказала тихо, только мне: — Третья. Та же бумага хозяина, та же рука хозяина, тот же песок. Морн, Тарн. Теперь этот. И опять наш адрес.

— На этот раз без «берутся».

— На этот раз короче. Тот, кто пишет, торопился, — она потёрла переносицу. — Или у него было мало счётов. Лине насчитала сорок и сто.

Я знал, о чём она. Узкий след в песке на третьем этаже. Тонко очинённое перо, которое она восьмой день держала в платке на своём столе и к которому не подпускала Плюха.

И пятая строка на листе, придавленном чужим локтем.

«Король, кто будет. То, что под Третьей. Его спросят».

* * *

— Нет, — сказал Бор.

Мы стояли в приёмной, вчетвером и Реддик. Дверь я притворил, оставив Келля на крыльце: он сказал, что подождёт, что ждать на улице ему привычней, чем сидеть в чужом доме.

— Нет, — повторил Бор. Он не садился. Кружка стояла на полке нетронутая. — Рик. Я двадцать шесть лет носил бляху. Я знаю, что бывает с теми, кто оказался рядом, когда пропадает такой человек. Не с виноватыми. С теми, кто рядом. Их находят первыми, потому что их искать удобней.

— Нас никто не видел.

— Нас видел старик в ливрее на нашем крыльце, средь бела дня, в пустой улице. И нотариус в окне. Ты думаешь, Тонк полынь повесил и ослеп?

— Тонк не скажет.

— Тонку не надо говорить. Его спросят.

Он подошёл к доске. Ткнул пальцем в шестой гвоздь, в жёлтые записки.

— Вот. Твоего брата рукой. «Наследства». Я три месяца думал, с чего он это повесил: ну, наследство, тяжба, родня грызётся, грязно. А нынче понял. Король пропал, сестра ищет тайком, шесть дней до присяги. Это и есть наследство, Рик. Самое большое, какое в Хальвене бывает. И твой брат, который был не дурак, написал: не брать.

— А потом сам вписал это в другой лист.

Я сказал это раньше, чем решил, что скажу. Адель посмотрела на меня. Я кивнул.

Мы молчали про стол восемь дней. Не оттого, что сговорились. Просто каждый вечер, спускаясь, я думал: завтра. Сперва надо понять самим. Бору хватает своего, у Никса письмо за пазухой, которому восемнадцать лет. Я знал, как это называется. Я сам говорил ей в Гельте: ты прячешься за формулировку.

— Никс, слезь. Реддик, вы тоже слушайте: вы сидите за моим столом и считаете мою книгу, значит, вы уже внутри.

— Я проверяю итоги, — ответил Реддик. — Для упражнения. Я не вправе…

— Вы не на службе. Вам некуда быть не вправе.

Он подумал и закрыл книгу.

Адель принесла лист. Она держала его на картонке, под стеклом, которое вынула из рамы от грамоты Палаты «за открытие Седьмого Порога»: ту самую, что я убрал за шкаф. Положила на мой стол.

«Кому отдать».

Они читали. Бор медленно, водя пальцем над стеклом. Никс быстро, шевеля губами. Реддик не читал: он считал строки.

— Семнадцать. Из них две отмечены. Отметки иной рукой и иными чернилами.

— «Морн Ю., землемер», — прочёл Бор. — Галка. «Тарн В., писарь». Галка, — он поднял на меня глаза. — Это когда писано?

— До девяносто девятого. Он пропал в девяносто девятом.

— За пять лет до вдовы. За пять лет до писаря.

— Да.

— А галки?

— Первая стоит месяца три. Вторая поставлена седьмого Двенадцатого, на другой день после того, как мы вручили шкатулку. В запертой комнате, от которой ключ был у Адель в кармане, в Гельте.

Никс присвистнул. Не две ноты: одну, длинную.

— То есть это не нас нанимают. Это он сам себе список составил. Чего кому вернуть. А сам сгинул, и оно теперь к нам идёт. По одному. С бумажками.

— Похоже на то.

— А бумажки кто подкладывает? Он?

— Не он. У того, кто ставит галки, нога меньше моей. У Гая больше.

— Тогда кто?

— Не знаю.

Бор всё ещё смотрел в лист. Палец его остановился на пятой строке.

— «Король, кто будет», — прочёл он. — «То, что под Третьей. Его спросят».

Он выпрямился. Лицо у него стало такое, с каким он когда-то узнал Тарна.

— Под Третьей. Арка. Порожная башня у самой арки стоит. Я там в наряде бывал, в оцеплении, двадцать лет подряд, каждое тридцатое число. Нас ставили спиной к башне, лицом к народу. И всякий раз сотник говорил: под ноги не глядеть, что услышите снизу, того не слышали.

— Что было слышно?

— Ничего. Один раз, в девяносто втором, вроде как стукнуло. Глухо. Будто дверь в погребе, — он потёр бровь. — Я решил: печка.

— Бор, — возразила Адель. — В Гельте, в восемьдесят восьмом, тоже решили, что печка.

Он долго молчал.

— Ты поэтому берёшь. Не из-за шестидесяти арок, или сколько он там принёс.

— Я ещё не знаю, сколько он принёс.

— Не из-за денег. Из-за пятой строки. Потому что если не возьмёшь, то придёт всё равно. Как вдова пришла. Как писарь.

— Оно уже пришло. Стоит на крыльце, мёрзнет.

— А первая строка?

Я знал, что он дойдёт до неё. Бор читает лист, как читает человека: с рук, потом лицо.

— «Р. В. Три дня, восемьдесят восьмой. Не отдано», — прочёл Реддик. Ровно, как читал бы недоимку. — И вопросительный знак. Господин Вельд, это ваши инициалы.

— Мои.

— Здесь записано, что за вами долг. Три дня. С восемьдесят восьмого года, — он поднял глаза. — Шестнадцать лет. Без указания кредитора.

— Кредитора я знаю. Примерно. Чем отдавать, не знаю.

— А рост?

— Что?

— На долг шестнадцатилетней давности обычно начисляется рост. Здесь не указано, начисляется ли.

Я засмеялся. Нехорошо, коротко. Потому что бывший мерщик третьего округа, сам того не зная, спросил то, о чём я не давал себе думать восемь ночей: двадцать три двора в Гельте, выгон, огороды. Это тело долга или уже проценты?

— Потом, — сказала Адель. Она положила ладонь на стекло, закрыв первую строку. — Это потом. Сейчас пятая. Рик, я говорю как совладелица: берём. Я хочу знать, что под Третьей. У меня восемь дней на столе его бумаги, и в них это слово встречается сорок один раз, и ни разу не объяснено.

— Никс?

Он стоял, сунув руки в карманы. Птица на сером шнурке висела у него поверх рубахи: он её больше не прятал.

— Мне Щегол дворец показывал. Издали. Говорил: вот туда никогда. Там замки не для нас и стража не та, что на рынке. Я тогда подумал: никогда так никогда, — он пожал плечом. — А в Гельт, говорили, тоже никогда. Беру. Только, Вельд. Раз нельзя писать. Вы как это в книгу внесёте? Штрафы мои, жалованье?

— Первого числа. Задним.

— А до первого на слово?

— До первого на слово.

— Ну, — сказал Никс с чувством. — Дожили. Контора Вельда работает на слово. Мох бы не поверил.

— Бор.

Он стоял у доски. Смотрел на шестой гвоздь, на жёлтую записку.

— Двадцать лет спиной к башне, — сказал Бор. — Под ноги не глядеть. Что слышали, не слышали. Я ушёл со службы, потому что мне велели смотреть в другую сторону. Склад с зелёными воротами, — он снял кружку с полки, подержал, поставил обратно. — Выходит, я и до склада туда смотрел. Каждый год. И не знал.

Он повернулся.

— Беру. Марте скажу, что собаку ищем. Она не поверит, но спрашивать не станет.

Реддик кашлянул.

— Меня не спрашивали. И спрашивать не должны: я не состою при конторе. Но, если будет позволено, справка. Через порог в Лишнюю неделю не дают из рук в руки. В наставлении

мерщикам, параграф сорок четвёртый, о взыскании в неприсутственные дни, есть примечание. Оно составлено именно на этот случай.

— И что там?

— «Окно порогом не считается».

* * *

Окно в приёмной у нас одно, слева от двери, и выходит оно на то же крыльцо. Гай в своё время заказал к нему широкий подоконник, дубовый, в две ладони: он любил сидеть на нём с кружкой и смотреть, кто идёт по улице, раньше, чем идущий увидит его. Я на этом подоконнике держу чернильницу про запас и горшок с чем-то зелёным, которое поливает Адель и которое, по её словам, называется не так, как я думаю.

Горшок я переставил на пол. Раму пришлось поддеть ножом, она примёрзла.

— По порядку, — попросил я Реддика. — Что там с окном. Мне нужно дословно, я с вашим наставлением знаком хуже, чем оно со мной.

Он встал из-за стола, одёрнул сюртук, которого больше не обязан был одёргивать, и заговорил тем голосом, каким два месяца назад читал мне на тракте про кассовые книги.

— Параграф сорок четвёртый. «В дни, когда обычай воспрещает передачу через порог, взыскание не приостанавливается. Должник кладёт взыскиваемое на подоконник окна, обращённого к улице, и отнимает руку. Мерщик берёт с подоконника. Взятое из руки в руку почитается неполученным». Примечание: «Окно порогом не считается, ибо в окно не входят».

— Входят, — ответил Никс.

— Составитель наставления, по всей видимости, не имел в виду вашу артель.

— Отнимает руку, — повторил я. — Это важно?

— Это главное. Вещь должна полежать ничьей. Хотя бы вздох. Тогда её никто никому не передавал: один положил, другой нашёл, — Реддик щёлкнул костяшкой указательного пальца. — Я взыскивал так дважды, в Лишнюю неделю сто первого года, с мельника в Верхних Бродах. Он положил на подоконник четыре арки и дохлую мышь. Мышь я оставил.

Келль подошёл к окну со стороны улицы. Снег под окном был нетронутый, и я увидел, что старик сперва поглядел, куда ставит ногу, а уже потом поставил: человек, который тридцать один год ходит к одному окну, знает цену следам под ним.

Он достал из-под плаща кошель. Серая замша, шнур золотой, с кистью; на замше ни герба, ни буквы. Тяжёлый: кисть качнулась и встала. Келль положил кошель на дуб, ровно посередине, и отнял руку. Потом, подумав, отступил на шаг.

Кошель лежал.

Смешно сказать, но я не сразу его взял. За шестнадцать месяцев в этой конторе я принял из рук в руки сотни две авансов, от трёх створок до ста арок, и ни разу не задумался, что происходит в тот миг, когда деньги уже не его и ещё не мои. Теперь они лежали на подоконнике ничьи, в пустой улице, и между ними и мной не было ничего, кроме обычая, которому тысяча лет и причину которого я, кажется, начинал понимать.

Я взял.

— Считайте при мне, — попросил Келль. — Мне велено видеть, что сочтено.

Я развязал шнур и высыпал на стол. Реддик подался вперёд и тут же убрал руки за спину: считать чужое без приглашения ему не позволяло что-то более глубокое, чем должность.

— Считайте вы, — сказал я ему. — У вас выйдет быстрей.

У него вышло быстрей. Он раскладывал монеты столбиками по пять, не глядя на чекан, одними пальцами, и губы у него не шевелились.

— Шестьдесят. Арки полновесные, чекан девяносто девятого года и позднее, одна обрезана по краю на волос, принять можно, — он помедлил. — Все новые. Ни одной тёртой. Это монеты не из оборота, господин Вельд. Их брали из запаса.

— Из чьего?

— У частного лица в запасе лежит то, что оно скопило, там всякий год. Здесь один двор и подряд три года чекана. Так лежит казённое.

Я ссыпал арки обратно. Шестьдесят. Столько Бюро не получало вперёд ни разу, если не считать соли.

— Мэтр Келль. Это аванс. Сколько всего?

— Мне не названо числа. Мне сказано: сколько спросят.

— Так не бывает.

— Мне сказано именно так.

Я поглядел на Бора. Бор поглядел в камин. Мы оба знали, что значит заказчик, который не называет цену. За год таких было трое. Первый не собирался платить вовсе. Второй считал, что платит честью знакомства. Третья, вдова Морн, просто никогда в жизни ничего не покупала сама и назвала сумму, на которую можно было нанять роту.

Эта была четвёртого рода. Она не называла числа, потому что не знала, будет ли первого числа кому и из чего платить.

— Триста, — сказал я. — Шестьдесят получено. Двести сорок по исполнении. Расходы сверх того, по счёту.

— Согласен, — ответил Келль, не переведя дыхания.

Никс за моей спиной тихо застонал. Я и сам понял. Человек, который соглашается на триста, не моргнув, согласился бы на шестьсот; а торговаться вверх после сказанного слова у нас не принято, для того и третье правило. Гай бы спросил шестьсот. Гай, впрочем, написал бы на шестом гвозде «Наследства» и не открыл дверь.

— Расписку, — напомнил Реддик вполголоса. — Вы приняли шестьдесят арок. Без расписки приход не проводится.

— Писать нельзя.

— Писать договор нельзя. Про расписку в обычае не сказано, — он сам себя остановил, поднял палец. — Виноват. Сказано. «Ни подписи, ни печати». Расписка без подписи не расписка. Я поторопился.

— А узел? — спросила Адель.

Мы обернулись к ней. Она стояла у доски и держала в руке серый шнурок, тот, что с начала Двенадцатого висит у нас на седьмом гвозде, под обрезком «218»: расписку гельтского головы в получении шкатулки. Три узла и петля. По-гельтски это читается «принято, целое, при людях».

— Узел не подпись, — проговорила она медленно, проверяя на слух. — В нём нет имени. Его не ставят, его вяжут. Он не на бумаге. Он не скреплён печатью. Мэтр Реддик, в вашем наставлении есть что-нибудь про узлы?

Реддик закрыл глаза. Мне уже случалось видеть, как он листает в голове; занимает это у него меньше, чем у меня найти нужную страницу в книге, лежащей на столе.

— Нет. Ни в наставлении, ни в Соляном уложении, ни в уставе о мерах. Узлы как род письма законом Хальвена не предусмотрены, — он открыл глаза, и в них было то выражение, с каким он в Затонах обнаружил, что параграф о задержании мерщика написан с дырой. — Следовательно, не воспрещены.

— Город, которого не было восемнадцать лет, — сказал Бор. — И грамота у него такая же.

Адель отрезала от мотка локоть бечёвки. Вязала она небыстро, с тем лицом, с каким пишет формулы: в Гельте Ингрид учила её четыре вечера, а экзамена не принимала. Один узел, второй, третий; между вторым и третьим она пропустила пальцы, что-то сосчитала и затянула по-другому.

— «Взято. Шестьдесят. Не всё», — прочла она по собственным рукам. — «Не всё» я, честно говоря, не знаю, как вяжут. Я связала «половина» и распустила один оборот. Ингрид бы меня высмеяла.

— А кто взял? — спросил Никс. — Там же не написано, кто.

— В Гельте не пишут, кто. Кто держит шнур, тот и знает, у кого брал.

— Удобно, — оценил Никс. — В артели бы прижилось.

Она положила шнурок на подоконник и отняла руку. Келль взял его, как берут вещь, назначение которой не вполне ясно, оглядел, пропустил между пальцев и убрал за обшлаг, туда же, где лежал клочок с золотым обрезом.

— Я передам. Мне поверят, что это расписка?

— Скажите ей, что это документ на местном наречии, — посоветовал я. — И что другого до первого числа в Ортене не выдаёт никто.

* * *

Оставалось третье правило.

Его написал Гай, как и первые шесть, и висит оно на стене затем, что слова заказчика имеют привычку меняться между приёмной и расчётом. «Найти» превращается в «найти и привезти», «тихо» в «бесплатно». Мы записываем дословно, читаем вслух, заказчик говорит «да» и расписывается. Реестр с двести восемнадцатым номером, вписанным под словом «БЕЗУМНОЕ», лежал у меня на столе, и следующая строка в нём была пустая.

Пустой ей предстояло оставаться шесть дней.

— Говорите поручение, — сказал я в окно. — Как вам велели. Слово в слово, и не спешите.

Келль расцепил руки и опустил их по швам. Так, наверное, он стоял мальчиком, когда его учили службе.

— «Найти того, кого с ночи на первый лишний день нет за подпёртой дверью, и вернуть его на то же место до первого удара первого колокола нового года, так, чтобы ни одна душа, кроме пославшей меня, не узнала, что его искали».

Он выговорил это без запинки и без выражения. Чужие слова, заученные по дороге, пока шёл от дворца задами, по снегу, считая шаги.

— Ещё раз, — попросила Адель.

Он повторил. Не изменилось ни слога.

Она стояла, прикрыв глаза, и шевелила пальцами левой руки, будто перебирала что-то на невидимой нитке. Потом произнесла всё сама, с начала до конца, его же ровным голосом, и остановилась там же, где остановился он.

— Так?

— Так, госпожа.

— Я четыре года сдавала устные Вейлю, — объяснила она нам. — Он не позволял записывать условие. Говорил, что задача, которую нельзя удержать в голове, поставлена неверно. Двести двадцать второй номер у меня. До первого числа реестр — это я.

— А если с тобой что случится? — буркнул Бор.

— Тогда второй экземпляр. Мэтр Реддик?

Реддик повторил поручение, глядя в потолок. У него вышло как опись: каждое слово лежало отдельно, пронумерованное.

— Третий экземпляр, — потребовал Никс и набрал воздуху. — «Найти, кого нет за дверью с брусом, и вернуть, откуда взяли, до колокола, и чтоб никто не знал, кроме той».

— Это не экземпляр, — возразил Реддик. — Это пересказ. В нём недостаёт четырёх существенных условий и прибавлено одно, которого не было.

— Какое это прибавлено?

— «Откуда взяли». В поручении нет слова «взяли». В поручении вообще не сказано, как он оттуда делся.

Я это тоже слышал. И хотел, чтобы услышали все, потому что с этого места начиналась моя работа: единственная, которую в этой конторе я делаю лучше остальных.

— Ещё раз, — попросил я Адель. — По частям. Я буду останавливать.

— «Найти того…»

— Не названо, кого. Это понятно, через порог не назовёшь. Но с первого числа, когда я буду вписывать, там так и останется «того». Мэтр Келль, меня не поправят задним числом?

— Нет. Имени в вашей книге не должно быть никогда.

— Дальше.

— «…кого с ночи на первый лишний день нет за подпёртой дверью…»

— «Нет». Не «ушёл», не «увели», не «пропал». Кто выбирал слово?

— Она, — ответил Келль. — Она перебрала несколько. Я слышал, как она говорила их вслух у окна. Остановилась на этом.

Значит, сама не знает. Или знает и не хочет, чтобы знал я. Человек, который за одно утро перебирает слова у окна, пока брат неизвестно где, а дворец должен жить так, будто всё в порядке, заслуживал того, чтобы я запомнил о нём это прежде, чем увижу лицо.

— «…и вернуть его на то же место…»

— Стой, — я повернулся к окну. — На то же место. За подпёртую дверь. За брус с целым клеймом, который до первого колокола нового года никто не отнимет.

— Да.

— То есть мало привести его к башне. Он должен оказаться внутри. При закрытой двери. Так, чтобы на рассвете брус отняли при народе и он вышел оттуда, куда вошёл.

— Да, господин Вельд. Иначе затвор нарушен. Нарушенный затвор — это король без присяги, а король без присяги… — он осёкся. Слово «король» выскочило у него само, впервые за всё утро, и он посмотрел на собственный рот с таким ужасом, будто оттуда выпала жаба.

— Мы не слышали, — ответил Бор. — Нас двадцать лет учили.

— Благодарю вас, сержант.

Бор вздрогнул. Он не назывался. Впрочем, человек, тридцать один год ходящий вдоль оцепления с подносом, знает спины лучше, чем лица.

— Дальше, — сказал я.

— «…до первого удара первого колокола нового года…»

— Шесть суток без нескольких часов. Сейчас идёт третий колокол первого дня. Понятно. Дальше.

— «…так, чтобы ни одна душа, кроме пославшей меня, не узнала, что его искали».

— Вот, — сказал я. — Вот здесь.

Они ждали. Адель уже поняла: она сняла очки и держала их за дужку, как держит, когда формула сходится с неприятным ответом.

— Не «что его не было». Не «что он пропадал». «Что его искали». Мэтр Келль, это тоже она выбирала?

— Это она сказала сразу. Не перебирая.

— Тогда слушайте, что я взял. Если полгорода узнает, что башня шесть дней стояла пустая, но никто не узнает, что мы искали, поручение исполнено. А если он найдётся сам, вернётся, сядет за стол, и при этом один стражник заметит, как мой сотрудник расспрашивал про него на рынке, поручение провалено. Вся тяжесть на нас. Не на нём.

— Ей нужно, чтобы не было следа от поисков, — тихо ответила Адель. — Пропажу она готова объяснить. Поиски объяснить нельзя: кто ищет, тот признал, что потерял.

— И ещё. «Ни одна душа». Тот, кто его увёл, если его увели, уже знает, что его нет. Это позволено. Но если этот человек узнает, что по следу идёт контора со Старых Весов, это уже

запрещено. Мы должны найти его у того, кто его держит, так, чтобы держащий не понял, что нашли.

— Нас тут пятеро, — возразил Бор. — Мы уже пять душ, и все знаем.

— Вы не узнали, — ответил Келль из-за окна. — Вы ищете. Кто ищет, тот не в счёт, иначе такое поручение нельзя было бы дать никому. Так мне объяснено.

— И вынуть, — добавил Никс. — Так, чтоб не понял, что вынули, — он почесал птицу на шнурке. — Вельд, это не розыск. Это по моей части. Это кража.

— Я знаю.

— За кражу такого размера в артели берут десятую долю от цены вещи. Сколько он стоит?

— Никс, — одёрнул Бор.

— Я для счёта спрашиваю.

Я ещё раз прошёл по фразе про себя, от «найти» до «искали», ища, где она сломается. Она не ломалась. Она была составлена человеком, который читает договоры, а не подписывает их не глядя, и каждое слово в ней стояло затем, чтобы потом нельзя было сказать «мы так не уговаривались». Одного в ней не было. В ней не говорилось, что делать, если найденный не захочет, чтобы его возвращали.

Тогда я не обратил на это внимания. Взрослый человек, запертый не по своей воле, хочет домой; так мне казалось в третьем колоколе первого лишнего дня.

— Принято, — сказал я в окно. — Двести двадцать второе. Три экземпляра, все устные, один негодный. Запись первого числа.

— Почему это негодный, — обиделся Никс.

* * *

Реддика я спросил, когда остальные пошли одеваться.

Он опять сидел за моим столом, над расходной книгой, и не листал её. Синий сюртук без канта выглядел на нём, как выглядит стена, с которой сняли картину: прямоугольник посветлей на месте, где двадцать лет была должность.

— Вам некуда идти до разбирательства, — сказал я. — Жалованье вам не платят. Бор кормит вас ужином третий день, и вы каждый раз пытаетесь оставить Марте четыре петли под тарелкой.

— Она возвращает.

— Она и будет возвращать. Мэтр Реддик, у меня шесть дней, в которые нельзя написать ни строчки. Шестое правило: расходы с расписками. Расписок не будет. Мы станем платить за извозчиков, за сведения, за хлеб, за молчание, и ни один человек в Ортене не даст мне на это бумаги. Первого числа я сяду сводить смету по памяти и совру, не желая того, арок на десять.

— На двенадцать, — поправил он. — Судя по тому, как вы округляете.

— Мне нужна книга, которая ходит. Вы помните все расписки, какие я выдал с двадцать восьмого Десятого по шестое Двенадцатого.

— Сорок три. Сорок четвёртая была без числа, я её не считаю.

— Будьте моей расходной книгой до первого. Арка с четвертью в неделю, как Никсу. На слово.

Он долго молчал. Костяшки его не щёлкали; он держал руки на закрытой книге и смотрел на них.

— На слово, — повторил он наконец. — Господин Вельд. Я двадцать два года взыскивал с людей, которые говорили: «Мы же уговорились на слово». Я знаю, чего оно стоит. Оно стоит ровно столько, сколько стоит человек, а человека нельзя подшить к делу.

— Меня можно. Вы подшивали. Сорок три листа.

Что-то у него в лице дрогнуло: не улыбка, до улыбки он за два месяца при мне не дошёл ни разу. Скорей то движение, каким человек проверяет, держит ли лёд.

— Условие. Первого числа вы запишете мой наём задним числом, с нынешнего дня. И всякий расход, который я назову, внесёте как я назвал, без округлений.

— Согласен.

— И я не выхожу. Я останусь здесь, при книгах. Отстранённому чиновнику, которого увидят в Лишнюю неделю у дворца, на разбирательстве зададут вопрос, на который я не хочу отвечать.

— Тем лучше. При вас останется Плюх.

Плюх сидел на каминной полке, рядом с Боровой кружкой, и делал вид, что разговор его не касается. С двадцать третьего числа он проникся к Реддику тем особым интересом, какой питает к людям, носящим при себе много мелких блестящих предметов в футлярах.

— Это не условие, — возразил Реддик, поглядев на него. — Это обременение.

* * *

Дверь я открыл сам.

Тут вышла заминка, какой я не ждал. Бор, уже в плаще, остановился перед порогом и встал, как перед лужей.

— С делом. Через порог не ходят с делом. А мы с делом.

— Мы не с делом, — возразил я. — Мы взяли аванс в окно. Поручение сказано в окно. Дело лежит на улице, вон оно, в сером плаще. Мы выходим из своего дома гулять в неприсутственный день, а что на крыльце нам встретится знакомый, с которым нам по пути, того обычай не воспрещает.

— Формально безупречно, — подтвердил Реддик из-за стола.

— Формально, — проворчал Бор. — У меня дед формально брус ставил. Формально в башне печка.

Но вышел. За ним Адель, с сумкой через плечо, в которой лежали трубка с иглой, тетрадь и карандаш: писать в Лишнюю неделю нельзя договоров, а про наблюдения в обычае не сказано. Я переступил порог последним и поймал правой ладонью дверной косяк, по привычке, которой у меня до осени не было. Косяк был как косяк. Дерево, холод. Белый рубец в форме ивового листа молчал.

Никса на крыльце не оказалось. Он вылез в окно.

— Я с делом, — пояснил он, спрыгивая в снег под подоконником. — Мне врать лень.

Келль повёл нас не к площади. Он свернул от нотариуса влево, в Весовой проулок, где летом сушат сети, а зимой не ходит никто, и пошёл вдоль глухих задних стен, ставя ноги в собственные утренние следы. Шёл скоро для шестидесяти лет. Ортен лежал вокруг запертый, белый, с полынью на каждой ручке, и над крышами, там, где за два квартала встаёт дворцовый холм, не было ни одного дыма, кроме кухонных.

Третью арку от нас не видно. Она за холмом, над площадью, серая в сером небе, и я с детства привык к ней, как привыкают к горе на краю города. Три недели назад я держал ладонью то, что закрыто в гельтском колодце. Два месяца назад вставлял бронзу в гнездо в подвале на Мызе. Про Третью я не знал ничего, кроме того, что она стоит над площадью тысячу лет и что под неё не велено глядеть.

— Мэтр Келль, — окликнул я. — Одно я не спросил. Окно-подавальня. Оно запирается?

Он не обернулся и не сбавил шага.

— Ставень на крюке. Снаружи. Я набрасываю сам, после каждой подачи, чтобы не дуло.

— Тридцатого вечером?

— Набросил.

— А нынче утром, когда пришли с кашей?

— Крюк был в петле. Я его снял своей рукой.

Бор, шедший за мной, сбился с ноги.

— Погоди. Дверь подпёрта снаружи. Клеймо цело.

— Цело.

— Изнутри на двери есть что?

— Засов. Он задвинут. Я видел, когда влез.

— Окно одно?

— Одно.

— На крюке. Снаружи, — Бор говорил так, как снимал когда-то показания, загибая пальцы в рукавице. — Брус снаружи, засов изнутри, ставень снаружи. И в комнате никого.

— Никого, сержант.

Мы прошли ещё шагов двадцать. Снег скрипел. Никс, которому полагалось что-нибудь сказать, молчал и смотрел себе под ноги, а потом вдруг топнул, сильно, каблуком, как пробуют лёд на реке.

— Из запертой комнаты, — сказал он. — Выходят двумя путями. Либо у тебя ключ, либо ты знаешь, где у комнаты дно.

— Пол в покое каменный, — ответил Келль через плечо. — Я мету его тридцать один год. В нём нет ни люка, ни щели, ни кольца.

— Мести, — сказал Никс. — Это сверху.

Старик остановился. В первый раз за утро он посмотрел на кого-то из нас прямо, и посмотрел на тощего парня в чужом полушубке, с бронзовой птицей на шее.

Я не видел его лица. Я глядел на Бора, который стоял посреди Весового проулка, сняв рукавицу, и слушал снег у себя под сапогами, как двадцать лет слушал его на площади, спиной к башне.

«Стукнуло. Глухо. Будто дверь в погребе».

— Идёмте, — сказал Келль. Голос у него сел. — Идёмте скорей. Я покажу вам пол.

Глава 2

Четвёртое правило написано рукой Гая и стоит на стене между «клиента проверяем» и «кто специалист»: отход планируем раньше входа.

Я вспомнил о нём на середине Золяного спуска, узкой лестницы между задними стенами, по которой из дворцовых кухонь сто лет возят вниз золу. Келль шёл по ней, как по собственному коридору. Мы поднимались следом, вчетвером, в городе, где шесть дней никто ни к кому не ходит, и я вдруг понял, что не знаю, кто мы такие, если нас спросят.

— Печники, — сказал Бор, не дожидаясь, пока я договорю. Он думал о том же ступенек двадцать. — В башне печка. Печка может дымить. Печника в затвор позвать можно, он не через порог, он в окно. Я каменщика знал, он в Лишнюю неделю втрое брал.

— Ты похож на печника?

— Я похож на человека, который чинит то, что ему скажут. Малый при мне, трубы чистить, — он оглядел Никса. — По размеру годится.

— А мы с Адель?

Бор посмотрел на её очки, на сумку с тетрадью, на мой плащ, переживший Складку.

— А вы молчите, — решил он. — В лишние дни молчащих не спрашивают.

— Не спрашивают никого, — отозвался Келль сверху. — Спросить — значит завести дело. Я нынче прошёл через две кухни и караульню, и ни один человек не сказал мне «куда». Вам довольно идти за мной и не глядеть в лица. Кто не глядит, тому не кланяются; кому не кланяются, того не помнят.

Так он и провёл нас. Калитка в садовой стене, чёрная от золы; двор, где под навесом стояли пустые чаны; девушка с вёдрами, которая отвернулась раньше, чем мы поравнялись. Потом вторая калитка, железная, с ключом, и за ней лестница вниз, вдоль подпорной стены дворцового холма, такая крутая, что Адель взялась за мой рукав и не отпускала до последней ступени.

— Порожный ход, — сказал Келль. — Сто двенадцать ступеней. Я хожу по нему четыре раза в день шесть дней в году. В прочие дни он заперт.

Внизу была щель.

Иначе не назовёшь. С одной стороны подпорная стена, серая, в потёках. С другой, в трёх шагах, круглый бок башни: камень тёмный, почти чёрный, не тёсаный, а будто слежавшийся, без единого шва, в который вошёл бы нож. Над башней, уходя в небо наискось, поднималась пята арки. Снизу, от самого основания, Третья не похожа на арку. Это столб, толщиной с дом, и только задрав голову до хруста в шее, видишь, что он начинает клониться.

Я стоял под ней в первый раз. С площади к пятам не подходят: там решётка и караул.

— Правая, — напомнила Адель тихо.

Я посмотрел на ладонь. Рубец был белый, спокойный. Я приложил руку к камню башни, осторожно, как трогают чужую собаку.

Камень. Холодный, шершавый, старый. Он не шёл на меня, не тянул и не отвечал. Гельтский колодец узнал мою руку за три шага; подвал на Мызе загудел, едва я спустился. Этот стоял, как стоял тысячу лет, и ему не было до меня никакого дела.

Мне следовало обрадоваться. Обрадовался я не вполне.

— Ничего.

— У меня тоже, — она держала трубку у самой стены. Игла висела отвесно, как гиря. — Но она не так висит. Смотри: она не дрожит. Игла всегда чуть дрожит, от шагов, от дыхания. А тут её будто взяли пальцами.

Окно-подавальня было на высоте груди: проём в локоть шириной и локтя в полтора вышиной, закрытый дубовым ставнем. Ставень держался на крюке. Крюк был в петле.

— Я набросил, уходя, — сказал Келль. — По привычке.

С той стороны башни, от площади, донёсся кашель и стук древка о камень: караул у бруса. Двое, лицом к пустой площади, спиной к двери, которую стерегут. Бор повернул голову на звук и замер, и я увидел, как двадцать лет службы встают у него в спине.

— Они не обходят?

— Им не велено. Им велено стоять.

— И под ноги не глядеть, — закончил Бор.

Келль снял крюк. Ставень отошёл без скрипа: петли были смазаны.

* * *

Первым влез Никс. Ему для этого не понадобилось ничего: он положил ладони на край, и в следующий миг в проёме мелькнули подошвы. Изнутри сказали шёпотом: «Чисто. Тут стол под окном, не сверните».

Адель я подсадил. Она оказалась легче, чем я думал, и сердитей: зацепилась сумкой, выругалась на языке, которого я не знаю, и канула в темноту.

Со мной вышло хуже. Проём был в локоть, а я в плечах шире локтя на добрую ладонь. Я полез боком, выставив правую руку вперёд, застрял, выдохнул, застрял крепче, и какое-то время висел так: голова и рука в королевском затворе, ноги над ортенским снегом. Сзади меня молча толкал отставной сержант стражи, а спереди за воротник тянул бывший адъюнкт Академии. Лицензию мне Палата Сводов приостановила в сто втором году за самовольство. Я подумал, что они, пожалуй, не всё тогда предусмотрели.

— Не дыши, — велела Адель.

Я не дышал. Что-то треснуло, не во мне, и я съехал животом по столу и встал на пол.

— Плащ, — сказал Никс с сожалением. — По шву.

— Его величество шире меня?

— Шире, — ответил Келль в окно. Сам он лезть не стал: ему было чем заняться снаружи, а второй раз за день такого не выдержали бы ни он, ни ливрея. — На ладонь в плечах. Я утром думал об этом. Он бы в это окно не прошёл, даже если бы кто-то снял крюк.

— А Бор?

— Я постою, — ответил Бор. — Мне отсюда слышно.

Глаза привыкали медленно. Свет шёл только из окна за моей спиной, серый, снеговой, и ложился на пол длинным косым ромбом.

Покой был круглый, шагов семь от стены до стены. Потолок низкий, сводом; Бор достал бы рукой. Стены того же тёмного слежавшегося камня, без штукатурки, без ковра, без единого гвоздя. Слева от окна печка, чугунная, пузатая, на трёх ногах, с трубой, уходящей в свод: Марта была права. В печке давно прогорело. Справа у стены лежанка, узкая, застеленная серым одеялом; одеяло сложено вчетверо в ногах, подушка не смята.

— Не ложился, — отметил Никс.

Стол, на который я съехал, стоял под самым окном. На нём был поднос с утренней кашей, которую Келль, влезая, сдвинул к краю; глиняный кувшин; чернильница с серебряной крышкой; перо, обыкновенное, гусиное, толсто очинённое. И тетрадь в тёмной коже, раскрытая, корешком вверх.

На полке над лежанкой в ряд стояли шесть свечей, толстых, восковых, в одинаковых медных плошках. Пять целых. Шестая, крайняя слева, обгорела.

Никс снял её, повертел, колупнул ногтем наплыв.

— Сальная бы за ночь вся ушла. Эта храмовая, её на восемь часов льют, от колокола до колокола, я такие у мерных отцов… видал, — он показал мне. — Сгорела на треть без малого. Зажёг, как стемнело, в восьмом. Задул, стало быть, до полуночи. Сам задул, пальцами: фитиль придавлен.

— Или задули ему.

— Тогда бы дунули. Когда дуют, воск брызжет вбок. Тут чисто.

Человек, который уходит сам, тушит свечу пальцами, складывает одеяло и оставляет раскрытую тетрадь. Человека, которого уводят, не просят прибрать за собой.

— Дверь, — сказал я.

Дверь была напротив окна: низкая, дубовая, окованная полосами. Поперёк неё, в двух скобах, лежал засов, железный, в руку толщиной. Задвинут до упора. Я потрогал: сидел плотно, в ржавчине, и на ржавчине не было свежей царапины.

— Его задвигают один раз, тридцатого, — сказал Келль. Он стоял за окном, и его голос входил в покой вместе со светом. — Он сам задвигает, изнутри, когда снаружи ставят брус. Так положено: порог запирают двое, тот, кто внутри, и те, кто снаружи.

— Зачем изнутри, если брус?

— Я спрашивал у старого порожного, когда принял службу. Он сказал: брус от тех, кто на площади. А засов от того, кто внутри. Чтобы не вышел, если очень захочется.

Адель подняла голову от пола.

Она уже стояла на коленях посреди покоя, подобрав юбку, с трубкой в одной руке и огарком в другой, и вела огнём над самыми плитами. Плиты были крупные, в два локтя, серые, пригнанные так, что шов едва читался. Келль не солгал: ни кольца, ни щели.

— Рик. Иди сюда. Только не по прямой, обойди вдоль стены.

Я обошёл.

— Песок.

Он лежал на плитах тонкой, едва видной дорожкой: серый на сером. Без её огарка, поставленного на пол, я бы прошёл по нему и не заметил. Дорожка начиналась у стены за лежанкой, шла к столу, огибала ножку стула и возвращалась обратно, туда же, к стене.

И в двух местах, где песка просыпалось побольше, был след. Неполный: носок и часть подошвы. Узкий.

Я поставил рядом свой сапог. Мой был длинней на три пальца.

— Та же нога, — сказала Адель. — Что у нас наверху, перед рамой. Я мерила тот след ниткой, нитка у меня в тетради, — она достала нитку с узелком, приложила. Узелок лёг на край отпечатка. — Та же.

— Он был здесь.

— Он пришёл от стены и ушёл в стену, — она встала, отряхнула колени. — И пока он шёл к столу и обратно, его величество, как я понимаю, сидел на этом стуле или лежал на этой лежанке, в четырёх шагах. И либо спал, либо не видел.

— Юлиана Морна видели, только если глядели чуть мимо.

— Да. Я об этом и думаю.

Никс уже был у стены.

За лежанкой, в изголовье, камень отступал: в толще стены была ниша, закрытая железной дверцей. Небольшая, локоть на полтора, чёрная, с накладным замком старой работы и скважиной в виде ключа бородкой вверх. Я видел такой знак на пряжках у людей Кастелл, и мне не понравилось, что я вижу его здесь.

— Ларцовая, — сказал Келль от окна. Голос у него изменился. — Туда ставят ларец. Тридцатого, при мне, перед тем как я выхожу. Ключ у него на шее. Я к ней за тридцать один год не притронулся ни разу. Она не моя.

— Она и не заперта, — ответил Никс.

Он не трогал замка. Он только поднёс к дверце ладонь, и дверца, качнувшись от движения воздуха, отошла на палец.

— Притворена.

Слово упало в круглую комнату, и я почувствовал, как Адель рядом со мной перестала дышать. Мы оба говорили его восемь дней назад, наверху, перед каменной рамой в комнате моего брата, когда искали, как назвать то, что не открыто и не закрыто.

Никс открыл дверцу до конца.

В нише было пусто. Каменная полка, на ней квадрат чуть более светлый, чем камень вокруг: место, где шесть дней в году тысячу лет стоит одна и та же вещь. И по этому квадрату, наискось, серая песчаная россыпь.

— Ларца нет, — сказал я в окно.

Келль не ответил. Я обернулся. Он держался обеими руками за край проёма, и лицо у него было, как у человека, которому сообщили о смерти второй раз за день и вторая оказалась тяжелей первой.

— Мэтр Келль. Что в ларце?

— Я не знаю, — он сглотнул. — Никто не знает. Его не открывают. Его вносят и выносят. Старый король говорил сыну при мне, один раз, когда тот был мальчиком: «В нём то, на чём стоит присяга». Мальчик спросил: «Бумага?» Старый король засмеялся.

— Без ларца присягу дать можно?

— Его ставят на камень под аркой. Король кладёт на него руку, — Келль смотрел на пустую полку. — Я не знаю, что будет, если класть руку не на что. Этого не случалось.

* * *

Тетрадь взяла Адель.

Келль дёрнулся было, и я понял его: старик, который отворачивается, когда человеку приносят одеяло, которого не положено, не может видеть чужих рук на его записях. Но не сказал ничего. Он нанял нас искать, а ищут там, где оставлено.

— Вслух, — попросил я. — Только то, что с тридцатого.

Она пролистала к концу, придерживая очки. Почерк был тот же, что на клочке: острый, быстрый, с наклоном, и строчки стояли тесно, как у человека, которому бумагу выдают по счёту.

— «Тридцатое. Затвор седьмой. Освин принёс второе одеяло, которого не положено. Я не заметил», — она подняла глаза на окно. Келль глядел в стену. — «Шесть дней без бумаг. Отец говорил, что это единственная неделя в году, когда король отдыхает. Отец не занимал у Корво».

— Дальше.

— «Венц был двадцать девятого. Хочет, чтобы гельтское дело слушала Палата, не я. Сказал ему: Палата в этом деле ответчик. Он сказал: казна тоже. Он прав, вот что скверно. Если суд признает грамоту, придётся вернуть городу откуп за восемнадцать лет. Реддик насчитал тридцать шесть тысяч в год. Я умножил и закрыл тетрадь».

— Шестьсот сорок восемь тысяч, — сказал Никс от ниши. — Чего? Я при мерщике два месяца ехал, я теперь тоже умножаю.

— «Корво: первое Первого. Эдда считает, что отсрочат. Я считаю, что Эдда считает плохо, когда ей страшно», — Адель помолчала над строчкой и стала читать медленней. — «Ночь. Не сплю. Снизу тянет, как из погреба, шестой затвор подряд, и опять в ту же сторону: от ниши. Отец в последний вечер сказал: под ларцом кольцо. Не тяни, пока не спросят. Я сказал: кто спросит? Он сказал: увидишь. Шесть затворов не видел. Начинаю думать, что отец пошутил, а он не шутил никогда».

Она перевернула страницу.

Следующего листа не было. От него остался корешок, неровный, в палец, с золотой кромкой.

— Вырван, — она приложила к корешку память о клочке, который Келль унёс за обшлагом. — Наш был оттуда, нижняя половина. Край совпадёт, я уверена. Но он был оторван с

двух сторон, Рик. От тетради и ещё поперёк, сверху. Я тогда решила, что так легла рука. А это вторая половина. Верхняя. Её здесь нет.

— Он взял её с собой.

— Он взял с собой начало, а конец оставил на столе. Адрес, — она посмотрела на Келля. — Он оставил его вам, мэтр. Не тот, кто писал, оставил: тот не знал вашего имени. Оставил он сам. Чтобы вы знали, куда он пошёл, если не вернётся к утру.

Старик закрыл глаза. Я не стал на него смотреть.

— Что было в начале? — спросил Никс.

— Сейчас узнаем.

Она вынула из сумки карандаш, не очинённый, а сточенный плашмя, широкой гранью: таким она снимает оттиски с клейм. Положила тетрадь на стол, на свет, разгладила лист, который шёл за вырванным, чистый, и повела графитом, едва касаясь, наискось.

Лист серел. По серому проступало белое.

Тот, кто писал, нажимал слабо: перо у него было тонкое и лёгкое, не это, толстое, с серебряной чернильницей. Но бумага королевская, плотная, и на плотной бумаге даже лёгкая рука оставляет борозду.

Мы читали втроём, голова к голове. Буквы были те же, острые, с наклоном. Рука хозяина бумаги.

«Отдай то, что под Третьей, на Старые Весы, двенадцать-бис. Сам. Тихо».

— Его спросили, — сказала Адель.

В окне, заслонив свет, стоял Бор. Он не мог видеть лист, но слышал каждое слово, и я знал, что он сейчас смотрит не на нас. Он смотрит себе под ноги.

— Отдай нам, — проговорил я. — То, что под Третьей. Ларец.

— Или то, что в ларце.

— Он взял ларец, вышел через эту нишу и понёс его к нам. Сам. Ночью. Один.

— И не дошёл, — закончил Никс. — Вельд. А в какую это ночь он пошёл один по Ортену с ящиком под мышкой, в хорошем сукне?

Я не понял сразу. Он смотрел на меня с тем терпеливым выражением, с каким объясняет, чем отмычка отличается от крючка.

— На первый лишний день. Воровская ночь. Единственная в году, когда артель работает вся, до последнего сопляка, потому что двери подпёрты, а окна нет, и стража сидит по караульням, и что взято в эту ночь без крови, то до первого числа не ищут, — он потёр средний палец правой руки, там, где три месяца носил напёрсток. — Он бы ещё с фонарём пошёл и с колокольчиком.

* * *

Бор стукнул в ставень костяшкой, дважды.

Мы с ним условились об этом знаке ещё на Мызе, и значил он одно: идут, и я не знаю кто. Никс задул огарок раньше, чем я обернулся. Адель закрыла тетрадь и сунула под поднос.

По порожному ходу спускались. Шаги были лёгкие, частые, и к ним примешивался звук, которого я не ждал: дужка ведра, брякающая на каждой ступени.

— Зольщица, — шепнул Никс. — С пустым идёт. Вниз с пустым не ходят.

Келль в окне выпрямился и убрал руки с камня. По тому, как он это сделал, я понял раньше, чем увидел.

Она встала перед проёмом, оттеснив обоих, и поставила ведро в снег. Серый кухонный плащ с чужого плеча, платок до бровей, на подоле зола. Под платком было узкое бледное лицо с тёмными кругами у глаз, прямые брови и рот, сжатый так, как сжимают, когда с утра не сказано ни одного слова, какое хотелось сказать. Лет двадцати семи. На среднем пальце правой руки, которой она взялась за край окна, сидело чернильное пятно, точно такое, как у Адель.

— Она, — сказал Бор у неё за плечом, негромко, для меня. — Я её девчонкой помню, на отцовых похоронах. Она тогда тоже вперёд всех встала.

Второе правило, клиента проверяем до выезда, на этом пришлось считать исполненным.

— Сержант Грейн, — сказала она, не обернувшись. — Нижний околоток, двадцать шесть лет службы, отставка по собственному прошению после дела о складе с зелёными воротами. Вас я тоже помню, хотя и не с похорон. Я читаю всё, что подаётся на имя брата, прежде чем оно ложится ему на стол, — она заглянула в покой, щурясь со света. — Кто из вас Вельд?

— Я.

— Подойдите, я вас не вижу. Нет, стойте: не к окну. К окну мне нельзя подавать ничего, кроме слов, а слова доходят и так. Повторите, за что вы взялись.

Адель повторила. Ровно, от «найти» до «искали», как утром.

Женщина в окне выслушала, шевеля губами вслед, и на слове «искали» кивнула: всё на месте.

— Рейн. Вы та, чью записку о Вязеле, приложенную к отчёту пристава, магистр Вейль назвал «расчётом, сделанным на коленке и потому верным». Я читала и записку, и отзыв. Отзыв длинней.

— Это на него похоже, — ответила Адель. Уши у неё порозовели, что с ней бывает нечасто и никогда от похвалы людей, чьё мнение ей безразлично.

— Меня хватятся к пятому колоколу. У вас четверть часа. Спрашивайте то, чего не мог сказать Освин.

Я подошёл на шаг ближе, чем она велела. Мне нужно было видеть лицо.

— Кому надо, чтобы первого числа из этой двери никто не вышел?

— Соляному совету, — она ответила сразу, готовым. — Если в первом колоколе нового года король не стоит под аркой с рукой на ларце, присяга не дана. Уложение, статья о порожнем дне: до новой присяги, а новую можно дать только в следующий первый день, через год, королевством правит совет палат. Трое. Сводов, Мер и Соли. У Соли в этом году старший голос. У Соли же через месяц суд, на котором она ответчик и на котором судья — мой брат.

— Советник Венц.

— Лотар Венц. Он был здесь двадцать девятого. Они говорили час, и после брат не стал ужинать.

— Он знает ход в эту башню?

— Откуда мне знать, что знает Венц? Его дед заседал в совете, когда мой дед ещё учился ходить. Палаты старше нас, господин Вельд. Мы сидим на этом холме четыреста лет, а Соль варили при Затворе.

— А кому он должен?

Она не моргнула. Но рука на камне, та, что с пятном, разжалась и сжалась снова.

— Короли не должают.

— «Корво: первое Первого. Эдда считает, что отсрочат».

Стало тихо. За башней кашлянул караульный.

— Вы прочли его тетрадь.

— Меня наняли искать. Я ищу там, где оставлено.

— Вас наняли искать его, а не считать казну.

— Сколько?

— Вам довольно знать, что срок существует. Число не прибавит вам ни одного следа, — она говорила быстро и гладко, и я слышал, что эти слова тоже перебраны у окна, заранее, как утром перебиралось «нет». — Банк не ворует королей. Банк ждёт первого числа и подаёт бумагу. Ему пропажа не нужна: с пропавшего не взыщешь.

— Смотря что в залоге.

Она промолчала. И это было ответом получше числа: залог имелся, и такой, о котором сестра короля не скажет через окно людям, которых видит впервые.

Я отложил это, как откладывают счёт, который придётся оплатить позже. Бор за её плечом смотрел на меня, и я знал, что он отложил то же.

— Тогда другое. Подойдите ближе и поглядите влево, за лежанку.

Она подошла. Я отступил, чтобы не застить свет.

Ей хватило мгновения. Она увидела открытую дверцу, пустую полку и светлый квадрат на камне, и то немногое, что было у неё в лице живого, ушло.

— Ларец.

— Его нет. Дверца не взломана. Ключ у него на шее, он открыл сам и унёс сам. Вот зачем, — Адель подняла к окну серый лист с белыми буквами. — Это писано в его тетради, ночью, его почерком. Не им.

Принцесса читала долго. Дольше, чем нужно на двенадцать слов.

— Двенадцать-бис, — проговорила она. — Это ваш адрес.

— Наш.

— Вы хотите сказать, что мой брат в ночь затвора взял порожный ларец и понёс его в контору, которая берёт заказы от вдов и писарей. Потому что ему написали.

— Я хочу сказать, что он до нас не дошёл. Будь ларец у меня, я бы не лез в это окно, а сидел дома и ждал, пока за ним явятся.

— Откуда мне знать, что он не у вас?

Это был хороший вопрос. Я сам задал бы его на её месте, и задал бы первым.

— Ниоткуда, — ответил я. — Седьмое правило моей конторы: чего не знаем, так и говорим. Вы не знаете, честен ли я. Я не знаю, зачем вашему брату было велено отдать мне вещь, которую он сам ни разу не открывал. И оба мы не знаем, кто это велел. Могу добавить одно: такую записку моя контора видит в третий раз. Первые две привели ко мне клиентов. Оба живы, оба получили, за чем шли, и оба раза после я закрывал то, что лучше держать закрытым. Отчёты пристава Доу вы читали.

— Читала. Оба.

— Тогда вы знаете обо мне больше, чем я о вас.

Она смотрела на меня ещё сколько-то. Потом на Адель. Потом вниз, на свои руки.

— Без ларца нет присяги, — сказала она наконец, другим голосом, без гладкости. — Если вы вернёте его одного, с пустыми руками, это то же, что не вернуть. Он выйдет, встанет под арку, палаты спросят: «На чём?» И Венцу не понадобится больше ничего. Я посылала Освина утром, не зная про ларец. Поручение надо дополнить.

— Нельзя.

— Что?

— Поручение сказано, повторено и принято. В Лишнюю неделю сказанного не переписывают, да и в любую другую я бы не дал: для того оно и говорится дословно. В нём нет ларца. В нём есть «найти того» и «вернуть его». Я взялся за человека.

— Вы торгуетесь.

— Я считаю. Ларец — другая вещь, в других руках, и, возможно, в другом конце города. Его унесли у вашего брата или он его спрятал, я пока не знаю. Это отдельная работа и отдельный риск для моих людей, — я обернулся к Адель. — Двести двадцать третье. Запоминай.

— Диктуй.

Формулировку на этот раз составлял я. Мне казалось, что так вернее: я видел нишу, видел полку, знал срок.

— «Найти порожный ларец, вынесенный из ларцовой ниши Порожного покоя в ночь на первый лишний день, и вернуть его в ту же нишу до первого удара первого колокола нового года».

— И так же тихо, — прибавила принцесса.

— «И так же тихо». Сто арок. Расходы сверх.

— Согласна.

Она сказала это в точности как Келль утром, не переведя дыхания, и мне следовало бы насторожиться не из-за цены. Но я слушал её, а не себя. Свою фразу я не проверил так, как проверил бы чужую. В ней было «ларец». В ней не было ни слова о том, что в ларце лежит.

Адель повторила. Келль, которому велено быть при каждом слове, повторил за ней. Двести двадцать третье легло в ту же голову, что двести двадцать второе, и стало казаться прочным.

— Аванс, — сказал я. — Первое правило.

— У меня при себе ведро и зола, — она впервые чуть усмехнулась, одним углом рта, и стала похожа на того длинного человека без шапки, которого я видел на площади. Потом сняла с шеи шнурок. — Вот. Ключ от железной калитки на порожном ходе. Второй такой у Освина, третьего нет. С ним вы войдёте сюда в любой час без него. Это стоит дороже ста арок, и первого числа я его выкуплю.

Она положила ключ на подоконник и отняла руку. Кто-то объяснил ей про окно; или она знала сама, как знают те, кому с детства взыскивать.

— Заклад, — поправил я. — Не аванс. Но мой брат писал первое правило не про принцесс.

— Ваш брат? — она нахмурилась. — Гай Вельд. Сводник, Седьмой Порог. Он пропал в девяносто девятом, в год, когда брат присягал. Я помню, потому что отец перед смертью дважды называл это имя, и никто не понял зачем.

У меня пересохло во рту.

— Что он говорил?

— «Вельд придёт за ларцом, не отдавай, пока не спросят». Мы решили, что это жар, — она посмотрела на серый лист в руке Адель, на слово «отдай», и я увидел, как у неё в голове одно сложилось с другим и ей не понравился итог. — Мне пора. Ещё два дела, и оба вам не понравятся. Первое. Еду Освин носит, посуда должна возвращаться пустой: за этим смотрит кухня.

— Я ем, госпожа, — ответил Келль тихо. — Здесь, за башней. Кашу я съел. Она была холодная.

— Второе. На третий лишний день, в полдень, к двери приходит советник палат, чей нынче черёд, и спрашивает через дверь: «Стоит ли порог?» Изнутри отвечают: «Стоит». Это порожный спрос, ему столько же лет, сколько брусу. В этом году черёд Соли.

— Венц.

— Сам. С двумя свидетелями. Если из-за двери не ответят, брус отнимут до срока, по праву совета, — она подняла ведро. — У вас двое суток до полудня третьего дня, чтобы за этой дверью был голос. Его голос, господин Вельд. Венц слушал его шесть лет.

Она ушла, как пришла: ведро брякало на каждой ступени, только теперь вверх.

* * *

— Кольцо, — сказал Никс.

Он лежал грудью на полке ларцовой ниши, засунув в неё голову и обе руки, и голос его шёл оттуда глухо.

— Под ларцом кольцо, старый король не шутил. Только оно не под. Оно в задней стенке, внизу, в пазу, утоплено заподлицо. Пока ящик стоит, его не видно и пальцем не подцепить. А ящик сняли…

Что-то щёлкнуло. Сухо, коротко: так щёлкала бронза на Мызе, когда вставала в гнездо. Я невольно сжал правую руку в кулак.

Задняя стенка ниши ушла внутрь и вбок, на оси, без скрежета. Оттуда дохнуло. Не холодом: в покое и без того было холодно. Сухим, стоялым, чуть пыльным воздухом, каким пахнет в ящике стола, который не открывали с прошлого хозяина.

Так пахло на третьем этаже, над нашей приёмной.

— Тянет, — пробормотал Никс и вылез. — «Снизу тянет». Ну да. Лаз. Локоть на полтора, дальше шире, ступеньки вниз. Плечистый пройдёт, если боком. Он и прошёл: на правом косяке нитка, серая, с золотой.

Адель зажгла огарок от огнива и поднесла к нише. Пламя легло, ровно, как причёсанное, в сторону лаза.

— Тянет не оттуда. Тянет туда, — она сунула в нишу трубку. — Игла прижата к стеклу. К той стенке, что смотрит вниз. И не дрожит.

— Что это значит?

— Не знаю, — она сказала это без запинки, седьмое правило давалось ей всё легче. — У Вязеля игла ходила кругами: там текло и возвращалось. В Гельте стояла отвесно и дрожала: там ждало. Тут её держат. Я бы сказала, что здесь ничего не течёт и ничего не ждёт. Здесь стоит. Очень давно и очень ровно. Как вода в закрытом колодце.

— Притворённом.

— Да.

Бор кашлянул в окно.

— Я с вами не пролезу. И старика одного не брошу, ему посуду нести и караул менять скоро будет. Рик. Четвёртое правило.

— Знаю.

— Куда лаз выходит, ты не знаешь. Сколько там идти, не знаешь. Я жду у окна до пятого колокола. Потом иду домой, как гулявший, и сижу на Старых Весах. Если к восьмому вас нет, беру у мэтра Келля второй ключ и лезу сюда с верёвкой и с Мартиным братом, который в это окно пройдёт.

— Мартин брат не знает, что…

— Мартин брат печник. Настоящий. Ему и знать не надо.

Я посмотрел на него, на его широкое лицо в узком проёме, и подумал, что есть люди, при которых правила можно не вешать на стену.

Первым пошёл Никс, потому что замки и лазы его. За ним Адель с огарком и трубкой. Я влез последним, боком, правым плечом вперёд, и на косяке, там, где висела серая нитка с золотой, оставил рядом вторую, от собственного плаща.

Ступени шли винтом, в толще стены, крутые и узкие, вытертые посередине. Не ногами: их было слишком мало, этих ног, за тысячу лет. Чем-то другим. Камень был скруглён, как галька.

— Считаю, — сказала Адель впереди. — Раз. Два.

Она считала вслух, как считала в Складке, и я поймал свой шаг на том, что он подстроился под её голос. Так было и там. Я шёл за этим счётом трое суток по смятой земле, где на счёт только и можно было положиться, и с тех пор, оказывается, не разучился.

Мысль была простая, и я не стал её додумывать. На винтовой лестнице под королевской башней для этого не место.

— Девятнадцать. Площадка.

Площадка была шага в три. На полу лежал песок, уже не дорожкой, а ровным слоем, в палец, и в песке было написано всё, что случилось здесь в ночь на первый лишний день.

Сапоги. Большие, с каблуком, с подковкой на носке. Они спустились сверху, постояли, потоптались на месте. И пошли вбок, в низкий проход, уводивший от площадки направо, ровно, без уклона.

Один след. Туда. Обратно он не возвращался.

И второй. Узкий, лёгкий, без каблука. Он поднимался снизу: лестница за площадкой шла дальше, ещё круче, в темноту, куда не доставал огарок. Узкий след пришёл оттуда, прошёл мимо нас наверх, к нише, и вернулся. Вниз. Поверх собственных отпечатков.

— Он не видел, — прошептал Никс, присев над песком. — Глядите. Длинный топтался тут. Вот, вот и вот. Он стоял на этих следах, на узких. Наступал. Если бы видел, обошёл бы или присел поглядеть, как я. А он стоял и думал, куда ему.

— Он пришёл сюда уже после того, как узкий ушёл вниз?

— Не, — Никс тронул песок мизинцем. — Вот узкий поверх сапога. Каблук, а на нём носок. Этот, маленький, шёл вниз, когда длинный уже тут стоял. Мимо него прошёл. В локте.

Огарок в руке Адель качнулся.

Я смотрел на лестницу, уходившую вниз. Оттуда ничем не пахло и ничего не было слышно. Рука моя молчала. Там, внизу, под пятой Третьей арки, было то, что мой брат вписал в свой лист пятой строкой, и тот, кто ставит в этом листе галки.

— Рик, — сказала Адель. Она не оглянулась, но знала, куда я смотрю. — Сапоги пошли направо.

— Я вижу.

— Мы взялись за сапоги. Дважды, за четыреста арок. Узкий след никуда не денется: он ходит туда и обратно, и, по записям Лине, ходит в шестом колоколе. Сейчас пятого нет, — она помолчала. — Я тоже хочу вниз. Больше твоего. Сорок один раз у него в бумагах это слово.

— Пятое правило, — напомнил Никс. — Кто специалист. Лаз мой. Направо.

Мы пошли направо.

Проход был низкий, мне по брови, сухой, выложенный тем же камнем. Сто сорок шагов, сочла Адель, и почти прямо: по моей прикидке, под решёткой, под краем площади, под хлебным рядом. Песок кончился на тридцатом шаге, дальше шла чистая плита, и следы пропали. В конце были четыре железные скобы в стене и над ними, в потолке, квадратная плита, одна, без раствора.

Никс поглядел на неё снизу и засмеялся, беззвучно, одними плечами.

— Вельд. Я знаю, где мы. Мне отец рассказывал, в Гельте, вечером, как он в восемьдесят шестом шкатулку прятал. Плита в погребе, которая качается. Он под неё сунул и восемнадцать лет не спал. Думал, там ямка.

— «Под Третьей».

— Ямка, — повторил Никс. — Он грамоту на королевский лаз положил. Сверху.

Он упёрся в плиту плечом. Она пошла легко: её поднимали минувшей ночью.

* * *

Погреб я узнал по описанию. Бочки вдоль стен, окорока под балкой, запах капусты и старого камня; нижний ряд кладки тёмный, слежавшийся, без швов, тот же, что в башне. Трактир «Под Третьей» стоит на Арочной площади за хлебным рядом сто лет, а погреб под ним, выходит, стоял и до площади.

Плиту мы опустили на место. Никс затёр ладонью песок на краю.

И тут наверху лестницы открылась дверь.

— Опять! — сказал женский голос, скорей усталый, чем испуганный. — Ночи им мало. Уже и днём ходят.

Она спускалась с фонарём в одной руке и с кочергой в другой: женщина лет пятидесяти, в чепце, широкая, в переднике поверх двух кофт. Гизела Крол, хозяйка. Тарн, помнится, говорил, что она считает постояльцев по сапогам у дверей и ни разу не ошиблась.

Я открыл рот, не зная, что скажу. Печники тут не годились: печники не вылезают из-под пола.

Никс шагнул вперёд и поднял обе руки, ладонями к ней, пальцы врастопырку.

— Пустые, матушка. Лишняя неделя. Низом шли, ничего не взяли, наверх не поднимемся, выйдем, где покажешь.

Она посветила ему на ладони. Потом на мои, которые я догадался поднять так же. На Адель она глядела дольше.

— В очках. Артель нынче в очках ходит.

— Счётчица, — не моргнув, ответил Никс. — Добычу считать. Времена такие, матушка, без счёта нельзя.

— Времена, — хозяйка опустила кочергу. Обычай она знала не хуже нас: вора, который в Лишнюю неделю показал пустые руки, не бьют и страже не сдают, потому что сдать значит завести дело. — Окорока считаны. Выход во двор, вон та дверь, брус я сниму. И скажи своему старшине, малый: погреб у меня не проходной двор. Ночью один вылез, нынче трое. Что у вас там, под полом, ярмарка?

Я почувствовал, как Адель рядом со мной перестала дышать. Спрашивать было нельзя. Одно слово, и вдова Крол запомнит, что люди из-под пола кого-то искали.

Никс не спросил. Он присвистнул, с завистью, как свистят про чужую удачу.

— Один? В воровскую-то ночь? И с добычей?

— С ящиком, — она пошла к дворовой двери, гремя ключами, и говорила через плечо, как говорят с прислугой. — Длинный, в сером сукне, сукно хорошее. Не ваш: руки не показал, не знал, что надо. Стоит, моргает на фонарь. Я говорю: ящик-то не мой? Он говорит: мой, матушка, прости за беспокойство. И даёт арку. Арку! За то, что из погреба вылез.

Она вытащила монету из кармана передника и показала на ладони. Новая, полновесная, без единой царапины. Чекан нынешнего года.

На монете был профиль. Я видел такой утром, шестьдесят раз подряд, на столе у себя в приёмной, и ещё раз, тридцатого вечером, на площади, без шапки, под снегом.

Гизела Крол держала на ладони портрет человека, который дал ей эту арку, и не знала об этом. В погребе было темно, а королей в лицо знает тот, кто стоит в оцеплении.

— Щедрый, — сказал Никс.

— Дурной. Я ему дверь открыла, он пошёл через двор, к Хлебному проулку. В такую ночь, в таком сукне, с ящиком, — она сняла брус и поставила к стене. — Его и повели от самой поленницы.

— Кто?

Это спросил не я. Это Никс не удержался, и я услышал, что голос у него стал другой.

— Девка. Сидела на моих дровах, как у себя дома. Он мимо, она слезла и за ним, шагах в десяти, и ни звука. Я ей: эй! Она обернулась и вот так, — хозяйка приложила палец к губам. — И пошла. Шапка на ней была мужская, с пером.

— С каким пером, матушка?

— А с рябеньким. Голубое с чёрным. Сойкино.

Никс стоял не двигаясь. Большим пальцем он тёр средний палец правой руки, пустой, там, где три месяца сидел напёрсток старого Щегла.

— Сойка.

Вдова Крол отворила дверь во двор. Там был снег, поленница под навесом и на снегу у поленницы, уже оплывшие, два следа рядом: большой, с подковкой на носке, и маленький, лёгкий, в мягком сапоге без каблука.

Глава 3

Снега в ночь на первый лишний день не было. Он шёл тридцатого до сумерек, сел королю на волосы, укрыл площадь и к восьмому колоколу перестал, будто его и звали только на проводы. С тех пор стоял мороз без ветра.

Это я знаю теперь. Тогда мне сказал Никс, присев над следами у поленницы и потрогав край отпечатка ногтем.

— Корка. Подтаяло днём на солнце, к вечеру схватилось. Писано ночью по мягкому, читать можно до первой метели, — он поднял голову. — Вельд, дайте хозяйке две петли за брус. Скажите: от артели.

Я дал. Гизела Крол взяла, не поблагодарив, и закрыла за нами дверь. Слышно было, как брус встал на место. Две петли, вдове Крол, без расписки: я повторил это про себя, чтобы донести до Реддика.

Двор был тесный, на две поленницы и колоду. Никс пошёл не по следам, а рядом, в шаге, пригнувшись, руки в карманах, и мне велел идти сзади и говорить о чём-нибудь.

— О чём?

— О чём гуляющие говорят. Про мороз. Мы трое идём от площади к реке, глядим под ноги, потому что скользко. Кто в окно смотрит, тот видит: скользко людям.

— Морозно, — ответил я.

— Весьма, — согласилась Адель. Она уже вынула нитку с узелком и, проходя мимо поленницы, наклонилась поправить башмак. Выпрямилась она с лицом человека, получившего не тот ответ. — Рик. Не та нога. Этот след короче на палец и шире в пятке. Тот, из башни, не она.

— Ты думала, что она?

— Я не думала. Я проверила, — она убрала нитку. — Было бы слишком просто. Воровка из Тесса, которая ходит сквозь притворённую дверь и пишет чужим почерком. Нет. У нас двое маленьких, и они друг про друга, может быть, не знают.

Хлебный проулок начинался за воротами: щель между задними стенами пекарен, где в обычный день задолго до первого колокола пахнет так, что нищие приходят просто постоять. Сейчас печи были холодные. Ставни закрыты, на каждой ручке полынь, и на всём проулке, от ворот до поворота, по нетронутому снегу шли две строчки.

Никс читал их вслух, вполголоса, не замедляя шага, как Адель читала тетрадь.

— Длинный идёт быстро. Не бежит: шаг ровный, каблук ставит твёрдо. Ящик у него под левой рукой: левый след глубже. Не оглядывается, носок всё прямо. Города не знает или знает сверху, из кареты: вот тут встал, поглядел направо, налево. Пошёл налево. Правильно пошёл, к Весам ближе, но это я знаю, а он, видать, по звёздам.

— А она?

— Она умная. Десять шагов держит, не ближе, идёт по его следу, чтоб своего не оставлять, только нога у неё меньше, по краям видно. Вот тут отстала: он встал, и она встала, за бочкой. Вот ладонь на снегу, в рукавице, — он цокнул языком. — Одна ведёт. Одна. Я думал, Заречные втроём пойдут, как положено: один ведёт, двое по бокам отсекают. Никого. Она работала без артели.

— Это хорошо или плохо?

— Это дорого. Сойка в одиночку не ходит за часами, — он прошёл ещё немного молча. — Я знал, что она в городе. С той ночи, с Одиннадцатого. Думал, взяла напёрсток, посмеялась и ушла за шкатулкой в Затоны, а там её след простыл. А она вернулась. Или не уходила.

Проулок кончился. За ним лежал Мучной угол: место, где Хлебный выходит на Мучной ряд под низкой каменной аркой, обыкновенной, уличной, какие ставили над въездами при старом короле. Под аркой снега не было, только наледь, и следы оборвались.

Никс остановился. Вынул руки из карманов.

— Тут.

— Что тут?

— Тут она его взяла. Я бы тут взял. Темно, скользко, он под аркой шаг укоротил, и ящик у него с левой, а стена справа. Она подошла слева сзади. Не толкала: когда толкают, человек падает, вот бы пятно было. Она…

Он опустился на корточки у самой стены, там, где наледь переходила в сугроб, и стал шарить в снегу голой рукой. Я загородил его от Мучного ряда, Адель встала с другой стороны и принялась, как гуляющая, разглядывать замок на арке.

— Есть.

На ладони у него лежал обрезок ремня. Узкого, в палец, из хорошей тёмной кожи, с серебряной пряжкой на одном конце. Другой конец был срезан наискось, чисто, без единой заусеницы, как режут бритвой натянутое.

— Он нёс не под мышкой, — сказал Никс. — Под мышкой он нёс для виду, на площади, перед народом. А ночью продел ремень в ручку и через плечо, чтоб руки были свободны. Думал, так вернее, — он показал срез. — «Писка». Монета, сточенная с ребра. Её в пальцах держат, вот так, между средним и безымянным. Одно движение снизу вверх, второй рукой принять вес. Он почуял, только когда плечу стало легко.

— И побежал.

— Ещё как.

За аркой, на Мучном, следы начинались снова, и это были уже другие следы. Большие, с подковкой на носке, шли скачками, по сажени, с проскальзыванием на каждом втором; человек бежал под гору в сапогах для дворцовых полов. А маленькие исчезли вовсе.

— Крыша, — Никс мотнул головой вверх, на водосток у арки, с которого был сбит лёд. — Она ушла верхом. Он её, может, и не видел: услышал сверху, побежал на звук. Вон туда. Вниз, к реке.

Мы прошли по Мучному ещё шагов сто. Скачки длинного вели под гору, мимо запертых лабазов, и чем дальше, тем чаще к ним примешивалось чужое: колея от саней, собачьи лапы, чьи-то валенки. У поворота на Нижний спуск улицу перерезал санный накат, разбитый, жёлтый от навоза. По нему утром прошёл водовозный обоз.

Всё. Дальше снег был как каша.

Никс постоял над накатом, глядя вниз, туда, где за крышами белела река и чернел Нижний мост.

— Вельд. Он бежал.

— Я понял.

— Нет, вы не поняли. В воровскую ночь не бегают, — он говорил тихо и очень серьёзно. — Это первое, чему учат, раньше, чем карману. Стража в эту ночь сидит по караульням, это правда, кроме одного раза. Раз за ночь каждый околоток выходит на свой мост и стоит там четверть колокола. Для порядка, чтоб знали. И берёт только тех, кто бежит. Кто идёт шагом, хоть с мешком, хоть с чужой шубой, того не трогают: шагом идёт — значит, гуляет человек. А кто бежит, тот либо украл, либо у него украли, и в обоих случаях с ним до первого числа разбираться некому. Его кладут в холодную, и всё.

— И всё, — повторила Адель.

— Он бежал под гору, к Нижнему мосту, в хорошем сукне, без шапки, и, надо думать, кричал «стой», — Никс сунул обрезок ремня за пазуху, к птице. — Либо он её догнал, тогда

он у Заречных, потому что Сойка на мосту дралась бы не одна. Либо не догнал. Тогда я знаю, где он, и это мне нравится ещё меньше.

* * *

Бор вернулся на Старые Весы раньше нас. Он сидел у камина, в плаще, не сняв шапки, и держал кружку за то место, где у неё когда-то была ручка. Когда мы вошли, он посмотрел на каждого по очереди, пересчитал и только тогда снял шапку.

— Пятого не было ещё. Я бы ждал.

— Я знаю.

Дверь я закрыл и подпёр. Келль ушёл наверх, к своим кухням, с пустой посудой и чужой кашей в желудке; о том, что мы нашли за нишей, Бор рассказал ему в трёх словах и о лестнице вниз не сказал вовсе. Старику хватало своего.

Реддик поднялся из-за стола. Перед ним лежал чистый лист, на который он не поставил ни знака, и рядом очинённое перо.

— Расходы.

— Две петли. Гизеле Крол, хозяйке трактира «Под Третьей», за снятый брус. От имени артели.

— Вы платили от имени воровской артели?

— Никс велел.

— Статья?

Я подумал.

— «Проход».

— Две петли, проход, Крол, первый лишний день, пятый колокол без четверти, — он не записал. Он закрыл глаза на счёт «три» и открыл. — Внесено. Далее. Плащ.

— Что плащ?

— Он разорван по левому шву на четыре вершка. Если повреждение получено при исполнении, оно идёт в расходы заказчика, по цене починки. Если вы порвали его раньше, я обязан это знать, чтобы не внести лишнего.

— Окно, — отозвался Никс. — Королевское. Он в нём застрял, как пробка, сержант его сзади пихал.

— Починка плаща, окно, — повторил Реддик без тени улыбки. — Цену назовёте, когда почините.

Мы рассказали остальное. Говорил больше я; Адель поправляла числа, Никс показал ремень. Бор слушал, не перебивая, и на «бежал» прикрыл глаза рукой.

— Нижний мост. Это мой околоток. Был. Мы туда выходили в воровскую ночь двадцать шесть лет, в одиннадцатом колоколе, на четверть. Я сам ставил людей. Двое на мосту, двое под мостом, остальные по лестницам. И брали бегущих, — он отнял руку. — В хороший год человек шесть. В плохой до дюжины. Клали в холодную, в подвал, и до первого числа никто их не писал, потому что писать нельзя. Счёт им вели на пальцах.

— А отпустить?

— Чтобы отпустить, нужна бумага. Околоточный подписывает: такой-то задержан, вины не найдено, отпущен. В лишние дни он подписать не может. Задержать можно без подписи, на то есть обычай. Отпустить нельзя, — он посмотрел в огонь. — Мы их кормили. Марта пироги носила. Мне всегда это казалось порядком. Сидят шестеро воров в тепле, не убудет с них.

— Бор. Если он там…

— Если он там, то он шестнадцать часов сидит в подвале под караульней капитана Бранда, где десятником Дирк Вессель, которого я сам учил держать алебарду, с теми, кого взяли на мосту. Без имени. Потому что имени он не скажет: кто ему поверит? А поверят, так хуже, — Бор поставил кружку на полку. — Завтра с утра я пойду. Не сегодня: в первый лиш-

ний вечер в караульне пьют, там нынче полгорода свояков, меня усадят и до ночи не выпустят. Завтра там будет один дежурный и похмелье. Я зайду как отставной, проведать. С пирогом.

— А если он у Заречных?

— Тогда это твоего малого работа, не моя.

Никс кивнул. Он сидел на третьей ступеньке и вертел в пальцах обрезок ремня.

— Нынче вечером показ. У Моха, в коптильне. Первый лишний вечер, всё, что взято за ночь, кладут на столы, и каждый говорит, где взял. Врать на показе нельзя: кто соврал про добычу, у того её отбирают в общую. Туда пускают смотреть. Скупщиков, менял, кому первого числа покупать. Я туда не могу, я в расчёте: вышел, двенадцать арок отдал, мне там теперь сидеть не по чину.

— А мне?

— А вы, Вельд, клиент. Ваш брат у Моха людей нанимал четыре раза, и вы меня у него взяли. Придёте поглядеть товар. Я при вас, как при хозяине. Спрашивать не будем. На показе не спрашивают, на показе хвастают, только слушай.

— Хвастать будут и про длинного с ящиком?

— Если кто видел, как Сойка в одиночку сняла ящик у дурака под Мучной аркой, то про это нынче вечером знает вся коптильня. Такое не держат. Это же красиво.

Адель, которая всё это время стояла у окна, спиной к нам, и глядела на улицу, обернулась.

— Полдень третьего дня. Пока вы ходите по коптильням. Двое суток без четырёх часов. За дверью должен быть голос.

Я не забыл. Я отложил, как откладывал заём.

— Если мы найдём его завтра утром в подвале у Бора…

— То нам надо вынуть его из-под караула без бумаги, провести через город, спустить в погреб к вдове Крол, которая считает нас ворами, поднять по лазу и посадить за стол. И всё это тихо. До полудня послезавтра. Рик, я считаю запас, а его нет. Если хоть один шаг сорвётся, в полдень третьего дня советник Венц спросит через дверь, стоит ли порог, и ему ответит печка.

— Келль, — напомнил Бор.

Мы посмотрели на него.

— Старик. Он тридцать один год слышит, как тот говорит. Он его говорить учил. Одно слово, через дубовую дверь в три пальца. «Стоит», — Бор пожал плечами. — Я в оцеплении этот спрос слыхал раз двадцать. Советник бубнит, изнутри отвечают, как из бочки. Там родную мать не узнаешь.

— Келль не войдёт. Ему через порог нельзя.

— Он утром в окно вошёл.

— Он не соврёт, — ответила Адель. — Ты его видел. Он слово «король» сказать не мог.

— Ему и не надо врать. Его спросят: стоит ли порог? Порог стоит. Это правда, — Бор усмехнулся в усы, невесело. — Чьим голосом сказана правда, про то в спросе ничего нет.

Реддик за столом издал звук, который я слышал от него дважды: в Затонах и над книгой Хаука. Так он отмечает формулировку, к которой не придраться.

— Запасной ход, — сказал я. — На случай, если не успеем. Бор, скажешь ему завтра сам. Он тебя послушает скорей, чем меня.

— Меня он зовёт «сержант».

— Вот поэтому.

Я стал снимать плащ и вспомнил про шов. Он разошёлся от подмышки вниз, и подкладка висела языком.

— Дай сюда, — сказала Адель.

— Ты не шьёшь.

— Не шью, — она уже держала в руке моток бечёвки, от которого утром отрезала расписку. — Сядь, не вертись.

Она встала надо мной, собрала края шва в щепоть и стала вязать. Не иглой: пальцами, продевая бечёвку в дырки, оставшиеся от ниток, и затягивая на каждой третьей маленький плоский узел. Я видел такие в Гельте на дверных шнурах. Руки у неё были холодные и пахли графитом.

— Это что значит?

— «Целое», — она не подняла глаз. — Вернее, «было целое, стало два, велено держать как одно». В Гельте так вяжут на треснувших вёдрах. Ингрид сказала, что на людях тоже можно, если очень надо, но держит хуже.

— А на плащах?

— Про плащи она не говорила.

Узлы ложились вдоль моего бока, один за другим, и я сидел смирно, как было велено, и смотрел на её пальцы с чернильным пятном. Я думал о том, что вот уже два месяца замечаю, чем пахнут её руки. Раньше не замечал. Раньше от неё пахло мелом, и это было свойство Адель Рейн, вроде очков. Потом, после Складки, я стал отличать графит от мела, а мел от гельтской соли.

Я не знал, что с этим делать, и решил пока не делать ничего. Это решение я принимал уже не в первый раз, и оно всякий раз казалось мне новым.

— Готово, — она откусила бечёвку зубами. — Починка плаща. Мэтр Реддик, по какой цене?

— Узел в Гельте стоит петлю, — ответил Реддик, не задумавшись. — Я справлялся у весовщика. Здесь одиннадцать узлов.

— Одиннадцать петель, — возразил Бор. — За плащ, который весь стоит шесть.

— Я вношу по цене работы, а не вещи.

Плюх, сидевший на каминной полке, протянул лапу и потрогал нижний узел. Отдёрнул. Понюхал лапу. Вид у него был озадаченный: он, по-моему, ждал, что узел окажется съедобным или блестящим, а тот не был ни тем ни другим и всё же чем-то был.

* * *

Коптильня Дяди Моха стоит на Рыбном спуске пятым строением от воды: длинный сарай из чёрных брёвен, без единого окна на улицу, с трубой, из которой круглый год идёт дым. Рыбу в ней действительно коптят. Я бывал там дважды, оба раза днём и оба раза с деньгами, и запомнил запах ольхи и то, как мягко этот маленький человек с серо-зелёной бородой пересчитывает чужие арки.

Вечером первого лишнего дня дверь коптильни была подпёрта, как всякая дверь в Ортене. Входили через окно. Окно для этого прорубили в торце, со стороны реки, низкое и широкое, и к нему была приставлена лесенка в три ступени с перильцем: артель уважает обычай и собственные колени.

У лесенки сидел на чурбаке парень с лицом, похожим на кулак, и грыз вяленого леща.

— Вельд, — сказал Никс. — Со Старых Весов. Смотреть.

— А ты при нём кто?

— При нём. Жалованье получаю. Тебе, Репа, такого слова не выговорить.

Парень оглядел меня от шапки до сапог, задержался на боку, где шов был увязан бечёвкой, и отодвинул ногу с прохода.

Внутри было жарко, дымно и светло от трёх десятков плошек. Коптильные жерди сдвинули к стенам; посередине, от торца до торца, стояли столы, сбитые из дверей. Настоящих дверей, снятых с петель, с ручками и замочными скважинами. Я не сразу понял, а поняв, оценил: в ночь, когда двери подпёрты, артель накрывает на них ужин.

На столах лежал Ортен.

Иначе не скажешь. Часы, каминные и карманные, штук сорок, и все шли вразнобой. Серебро: ложки, подсвечники, чья-то купель. Шубы, сваленные горой, и на вершине горы

живой гусь в корзине. Вывеска цирюльника с Соляной, снятая вместе с крюком. Сапоги, одна пара, но такие, что возле них стояли трое и молчали. Вставная челюсть на слоновой кости. Нотариальная печать: я вгляделся, не Тонка ли, и с облегчением увидел чужой герб.

Вдоль столов ходили и стояли. Свои, человек шестьдесят, от стариков до мальчишек, которым было рано даже врать. И чужие, вроде меня: двое менял из рядов, скупщик с Заречья в лисьей шапке, сухая женщина с лорнетом, про которую Никс шепнул, что она берёт только книги. Чужие смотрели и не трогали. Спрашивать цену до первого числа нельзя, приценивались глазами.

— Вон, — сказал Никс мне в плечо. — Слушайте.

Хвастали по очереди. Тот, чья добыча, вставал у своего места за столом и говорил, где взял и как; остальные слушали и, если было за что, стучали кружками. Правило я знал от Никса: соврёшь про добычу, отберут в общую. Правило работало. Каждый рассказ был точен, как опись.

— Шуба кунья, дом вдовы Аммер на Вязовой, через слуховое, она спала в кресле при свече, я свечу задул, чтоб не сгорела.

Стук.

— Часы с боем, из лавки Гротта, через дымоход. Гротт сидел за дверью с ружьём и сторожил дверь.

Стук, хохот.

— Гусь, — сказал мальчик лет двенадцати, вихрастый, с чёрным от сажи носом. — Сам пришёл.

— Чиж, сядь.

— Не сяду. Гусь мой. А ещё я видел, чего никто не видел, и за это мне положено слово, потому что устав: кто видел красивое, тот говорит.

— Ну, говори.

Никс взял меня за рукав. Не сжал, а просто взял, двумя пальцами, как берут карман.

— Я с крыши Мучного лабаза видел, как Сойка сняла ящик.

В коптильне стало тише. Не тихо: шестьдесят воров не умеют молчать разом. Но кружки опустились.

— Тесская?

— Она. В шапке с пером. Я на лабазе сидел, ждал, пока гусь заснёт. А по Хлебному идёт длинный. Один! В сером, без шапки, на плече ремень, на ремне ящик, вот такой, — мальчик показал руками локоть. — Чёрный, углы в железе. Идёт, как по своему двору. А она за ним, в десяти шагах, и я её не видел, клянусь мерой, пока она под арку не зашла. Он под арку, она под арку. И всё. Он с той стороны выходит, а ящика нет. Ремень висит.

— А она?

— А она уже на водостоке. С ящиком. Под мышкой держит и лезет одной рукой, вот так, и ногами, — Чиж изобразил, и я поверил, что он видел. — Он голову задрал. Она ему с крыши пальцем: тсс. И по коньку, по коньку, к Нижнему спуску. Он как заорёт!

— Что заорал?

— «Стой! Именем…» И заткнулся. Не сказал, чьим. И бегом за ней, по улице, под гору. В воровскую ночь! Бегом! — мальчик захлёбывался. — Я чуть с лабаза не упал. Думаю: дядя, там же мост, там же Нижние стоят, одиннадцатый колокол! А он бежит. Длинный, ноги как у цапли.

— И?

— И свистки. Я дальше не видал, я за гусем полез. Но свистки были. Три раза.

Кружки ударили по столам все разом, и коптильня зашумела. Я стоял, чувствуя два пальца Никса на рукаве, и глядел на вставную челюсть, чтобы не глядеть ни на кого.

«Именем». И заткнулся. Он едва не сказал это ночью на Мучном, с крыши было слышно. И не сказал. Человек, у которого срезали с плеча то, на чём стоит присяга, бежал за воровкой под гору и на бегу вспомнил, что ему нельзя называть себя. Про короля Эдрика я до того дня знал две вещи: что он длинный и что он смеётся редко. Теперь знал третью.

— Заречные её привезли, пусть Заречные и хвастают, — сказал кто-то. — Где она ящик-то кладёт? Не к нам.

— И не к Заречным, — ответил другой. — Я у них был засветло. Злые как осы. Она им с того ящика доли не снесла.

— Одиночка.

— Одиночка, а на чужих дровах сидела. Двор-то Крол чей? Наш двор.

— Двор Крол ничей, — ответил мягкий голос у меня за спиной. — Вот уже восемь лет.

Я обернулся.

Дядя Мох сидел на низкой скамеечке у коптильного жёлоба, в стороне от столов, и вязал. Чулок был серый, в резинку, и спицы ходили сами, без его участия: он смотрел не на них. Он смотрел на меня, снизу вверх, ласково, как смотрят на гостя, которого не звали.

— Господин Вельд. Садитесь, в ногах правды нет. Малый пусть постоит, он в расчёте, ему сидеть при мне не по чину. Впрочем, пусть тоже сядет. Лишняя неделя, чины подпёрты.

Я сел на перевёрнутую кадку. Никс остался стоять.

— Вы пришли смотреть товар, — продолжал Мох. Спицы постукивали. — Это хорошо. Ваш брат тоже приходил смотреть, в девяносто седьмом. Купил, помню, один ключ и долго держал его в правой руке. Вы ничего не купите. Вы на товар не глядите. Вы глядите на челюсть, а слушаете Чижа.

— Чиж хорошо рассказывает.

— Чиж врёт про гуся. Гусь не сам пришёл, гуся он выменял на свисток, и я это знаю, и отберу гуся в общую, когда гости уйдут. А про Сойку не врёт, — он довязал ряд и перевернул. — Я не спрашиваю, чем вам занятен длинный с ящиком. В лишние дни спросить значит завести дело, а я дел до первого не завожу. Я старый человек и уважаю обычай. Я вам просто расскажу про дрова. Вы же любите слушать.

— За слушанье у вас берут?

— Створку с уха. С двух ушей две. Малому бесплатно, он своё отдал.

Я достал две створки и положил на край жёлоба. Не в руку: на камень. Мох посмотрел, как я отнял пальцы, и улыбнулся в бороду.

— Учитесь. Так вот, дрова. Двор трактира «Под Третьей» в воровскую ночь всегда был наш: там проулок, лабазы, хорошее место, чтоб ждать. Восемь лет назад, в девяносто шестом, под самую Лишнюю неделю, ко мне пришёл человек. Серый кафтан, вежливый. Говорит: в ночь на первый лишний день на поленнице у вдовы Крол должен сидеть один человек. Не ваш: наш. Сидеть от сумерек до света и глядеть на дверь погреба. Больше ничего. Вам за то, что вы в этот двор не ходите, пять арок в год.

— Пять арок за то, чтобы не ходить в один двор.

— Я тоже удивился. Спросил: а что он высидит, ваш человек? Мне ответили: скорей всего, ничего. Но если из погреба в эту ночь кто-нибудь выйдет с ношей, ношу надо принять. Тихо и без крови, — Мох потянул нитку из клубка. — Восемь лет платят. Первого числа, день в день. Семь лет на дровах сидели разные и высидели семь простуд. На восьмой год посадили тесскую, и она высидела ящик.

— Кто платит?

— Серебром. Новым, тесского счёта, в кошеле с пряжкой, — он поднял на меня глаза, и ласковости в них на миг не стало. — Пряжку я вам описывать не буду, господин Вельд. Вы на Мызе такие видели. У тех людей, что приплыли на узкой лодке и уплыли, оставив задаток.

Ключ бородкой вверх.

Я не ответил. В голове у меня встало, одно к одному, как монеты у Реддика в столбик: дверца ларцовой ниши с тем же знаком на замке. Третье правило закупки, введённое восемь лет назад. Строчка в братнином листе: «Кастелл И. — мужа». И женщина со шрамом через бровь, которая сказала мне у реки: «Вы держите правую руку, как держал он».

Восемь лет кто-то ждал, что из погреба вдовы Крол выйдет человек с ларцом. Знал про лаз. Знал, что в ларце. И был готов ждать ещё восемь.

— А тесская, — сказал Никс. Голос у него был ровный, слишком ровный. — Она ящик тем и снесла? С пряжкой?

— Вот этого, малый, я не знаю. И те, с пряжкой, похоже, не знают: их человек приходил ко мне нынче в полдень, через окно, очень вежливый и очень белый. Спрашивал, не видал ли кто Сойку, — Мох снова улыбался. — Я ему сказал: в лишние дни не спрашивают. Он ушёл. Думаю, она им ящик не снесла. Думаю, она его положила куда-то, где до первого числа никто не возьмёт, и села ждать, кто больше даст. Она ведь никому не служит дольше ночи. Ночь кончилась.

— Куда кладут то, что нельзя взять до первого?

— Ты у меня семнадцать лет хлеб ел и спрашиваешь.

— В лаз, — ответил Никс.

— В лаз. А где нынче лаз, это каждый год по-новому, и кто не в артели, тому не говорят. Ты не в артели, — старик смотал нитку. — Ступайте, господин Вельд. Товар вы посмотрели. Двух створок вы наслушали с лихвой, я старею, раньше я за столько рассказывал короче.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.